

**ГЕРМАН КАНАБЕЕВ**  
**БУЛЬВАР РЯДОМ**  
**С УЛИЦЕЙ ГОГОЛЯ**



КНИЖНАЯ  
ПОЛКА  
ВАДИМА  
ЛЕВЕНТАЛЯ

Содержит  
нецензурную  
брань

18+

Книжная полка Вадима Левенталя

Герман Канабеев

**Бульвар рядом с улицей Гоголя**

ИД «Городец»

2021

УДК 821.161.1-32  
ББК 84(2Рос=Рус)6

**Канабеев Г.**

Бульвар рядом с улицей Гоголя / Г. Канабеев — ИД «Городец»,  
2021 — (Книжная полка Вадима Левенталя)

ISBN 978-5-907220-90-4

В своих рассказах Герман Канабеев описывает Россию как страну, населенную ментами и колдунами, буддистами и алкоголиками, коучами и порноактрисами. Страну, в которой грусть, радость, одиночество и близость – одни и те же, что на заброшенном полустанке, что на просторах рунета. Любой читатель знает эту Россию. И узнавая ее на каждой странице, будет смеяться сквозь слезы.

УДК 821.161.1-32  
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-907220-90-4

© Канабеев Г., 2021  
© ИД «Городец», 2021

## Содержание

Облако	5
Холмгород	7
Лучший друг мертвецов	7
Мотылек	10
Ночь в Холмгороде	12
Сторож	13
Монолог на Пивзаводе	15
Актриса	18
Ювелир	20
Поезд	22
Сиреневый ворон	25
Убийца птиц	25
Собиратель красоты	30
Суперагент	33
Конец ознакомительного фрагмента.	34

# Герман Канабеев

## Бульвар рядом с улицей Гоголя

### Облако

– Деда, почему наша станция называется Облако? – спрашивал я у деда и бежал за ним по шпалам.

Дед шел впереди в ярко-оранжевом жилете поверх телогрейки. Мне не хватало полного шага, чтобы идти точно по шпалам. Первый попадает, а следующий уже мимо. Это жутко раздражало. Я не мог понять, зачем шпалы кладут так, что каждый второй шаг мимо. Либо приходится семенить, как дурак, либо прыгать.

Деду, наоборот, было удобно. Он шел размашисто и попадал точно через одну, не прилагая усилий. Он походил на медведя. Огромный и могучий.

– Зимой расскажу, – отвечал дед.

– Почему зимой?

– Так понятнее будет, – говорил дед, не оборачиваясь на меня, и добавлял: – Хватит болтать. Послушай, как поют провода.

Я останавливался и слушал.

Провода вдоль железнодорожного полотна действительно пели. Звук был странным. Похожий на стон рвущейся гитарной струны.

– Деда, о чем поют провода?

– О многом, – отвечал дед, – о расставании, о встрече, о любви, о ненависти – обо всем, что чувствуют люди, едущие в поездах.

Когда песня проводов становилась громче и казалась тревожной, дед брал меня за руку и стаскивал с полотна.

Мы отходили на несколько метров, и я ждал удара ветром от поезда. Мне казалось, что в этот момент я перемещаюсь в другой мир. В такой мир, где есть только ветер, оглушающий свист состава, грохот колесных пар и все, что чувствуют люди. Только без самих людей. Словно в поезде и нет людей. Только их чувства, которые им уже не принадлежат.

Дед всю жизнь проработал на железной дороге. На станции Облако. Дежурным стрелочного поста. Если кто-то называл его стрелочником, это могло стать причиной серьезной драки. Дед ненавидел это слово.

Метрах в двадцати от платформы находилась наша деревня на десять домов. Все, кто жил в Облаке, работали на станции.

Мы с дедом были вдвоем. Я не помнил матери и отца. Всегда был только дед. Он и я.

Два раза в день он брал меня с собой. Мы шли к стрелочному посту. Слушали песни проводов. После стрелочного перевода дед вел меня к заброшенному железнодорожному полотну, находившемуся чуть в стороне.

Мне не нравилась эта дорога. Рельсы здесь были ржавыми. Они не блестели так, как на той, по которой несутся поезда. Здесь не было проводов, а значит, не было их песен. Половина шпал отсутствовала, и полотно походило на старческий беззубый рот. С одной стороны – той, что ближе к лесу – рельсы обрывались.

Здесь тоже был стрелочный пост. Через него можно было перевести поезд на рабочие пути или туда, где рельсы обрывались. Каждый раз дед проверял работоспособность механизма. Если что-то было не так, он говорил мне оставаться на месте, а сам шел домой за соли-  
доллом.

Он тщательно смазывал каждый болтик. Проверял, работает ли, и, довольный, смотрел туда, где обрываются рельсы. Потом в другую сторону, словно ждал поезда.

– Дед, зачем ты следишь за этим постом? – спрашивал я. – Здесь же все равно не ходят поезда.

– Не ходят, – отвечал дед, – но последний поезд пройдет именно здесь.

– Что за последний поезд? Расскажи!

– Мой отец, твой прадед, рассказывал, что по этой дороге пойдет последний поезд. Поэтому стрелочный пост нужно держать исправным. Вовремя сделать перевод, чтобы поезд ушел туда, где кончаются рельсы.

– Почему он последний, поезд этот?

– Потому что на нем можно доехать до счастья, – отвечал дед.

– Счастье – это станция такая?

– Да, наверное, станция, – дед улыбался и гладил меня по голове. – От Облака до Счастья, думаю, пару дней пути.

Дед умер, когда мне исполнилось десять лет. Из города приехала немолодая дряблая женщина с уставшими глазами. Сказала, что она – моя тетка, и забрала в город.

Через двадцать лет в январе, сразу после новогодних праздников, я вернулся на станцию Облако. Зима была крепкой, снежной и скрипучей. Как только вышел из поезда, понял, почему станция называется «Облако». Сопки, между которыми спряталась деревня, засыпало снегом, и казалось, будто это кучевые облака.

С собой из города я захватил солидол. Домой к деду заходить не стал. Да и не был уверен, что дом еще стоит. Мне было нужно на стрелочный пост.

Я шел по путям. Теперь моего шага хватало, чтобы спокойно идти через одну шпалу. Наверное, я уродился в деда. Может, со стороны теперь тоже похож на медведя?

Я дошел до старого полотна и нашел стрелочный пост.

Рычаги не поддавались. Я долго мучился с ними, пока не услышал песню проводов над головой. Это было странно. Над старыми путями не было высоковольтной линии. Песня становилась звонче, и я почувствовал легкий ветерок вдоль путей. Такой бывает, когда состав подходит к станции. Я почувствовал, как задрожали рельсы.

Что было сил навалился на рычаг и перевел стрелку с рабочих путей на те, что обрываются ближе к лесу.

Поезд несся с невероятной скоростью. Я еле успел соскочить с его пути. Когда он пролетал мимо меня, время словно замедлилось и в окне одного из вагонов я увидел деда. Он смотрел на меня и улыбался. Я крикнул что было сил:

– Дед, ты счастлив?

– От Облака до Счастья два дня пути, – услышал я в ответ.

Поезд ухнул в лес, оглушив меня пронзительным свистом, и исчез.

## Холмгород

### Лучший друг мертвецов

Этот город маленький. Сорок минут в поперечнике от Слободы до Пивзавода. В центре городской парк. В парке сгорела церковь. Давно. Стоит без куполов, на стенах мокрая зелень из плесени и грибка. Рядом с церковью тир и танцевальная площадка.

Через весь город прямая, словно туго натянутая веревка, улица Ленина. Слобода – крайняя точка города, дальше граница с Монголией и город Алтанбулаг. В детстве я любил взобраться на сопку и смотреть в сторону этого города. Он иногда проглядывал сквозь облако песка и пыли над монгольской степью. Я представлял живущих там монголов. Свободных, неистовых кочевников, где каждый Чингисхан. Ну или Мамай, на худой конец. В девяностые увидел их на городском рынке. Продавали китайские пуховики, и ни одного Мамай среди них не разглядел, тем более Чингисхана.

На другом конце города пивоваренный завод, почивший вместе с Советским Союзом, но успевший оставить после себя название района и маленький ларек с красным по желтому баннером – «пиво». После Пивзавода много леса. Очень много леса, где по осени полгорода охотится на маслята и рыжики. Других грибов здесь не признают, смело записывая опята и лисички в поганки. Бывает, попадаются толерантные грибки, дающие шанс груздям и подберезовикам, но таких слабохарактерных мало.

В этом городе до сих пор хоронят всем миром. Открывают ворота во двор дома. Рядом с воротами ставят крышку гроба. Приезжает натуральный грузовик. Борта откидывают. Застилают кузов коврами. Ставят стулья, на них гроб с покойником. По бокам скамейки с родственниками. Грузовик едет очень медленно. Процессия движется пешком через весь город к кладбищу. Впереди грузовика все, кто знал покойника. С венками. Кто-то несет портрет. Сзади оркестр. Ну как оркестр, пара мятых труб, большой круглый барабан. Играют похоронный марш.

В городе нет семей, где еще никого не хоронили, поэтому все знают Володю. Володя сошел с ума в двадцать пять лет. Из-за того, что умерла Зина. Володя статный и кудрявый, как каракулевая шапка. Работал в лесничестве. Зина из-за эпилепсии работать не могла. «Падучая она у меня», – говорил о Зине Володя.

Однажды Зина упала в припадке, ударилась головой и умерла. Володя потерялся. Найти его можно было на кладбище. Там он прожил с марта до ноября. Пока совсем не подморозило. Питался тем, что оставляют родственники на могилах, спал в оградке у Зины. Вместо подушки могильный холмик, телогрейка под себя, овчинный тулуп сверху. Вытащить Володю с кладбища оказалось невозможно. Он с удовольствием принимал водку и еду. Но угрожал зарезать, если кто-то пытался забрать его с кладбища. У милиции получилось один раз. Отвезли в больницу, но Володя покусал врача и снова убежал на кладбище. Милиция решила: «Да и хер с тобой».

Когда я в первый раз увидел Володю, прошло уже много лет после Зины. Все, что произошло с Володей, я узнал от бабушки, потому что Володино кладбище и Зина были до моего рождения. Земное притяжение лишило Володю статности и скрючило наподобие вопросительного знака. Как и раньше, кудрявый. Правда, кудри стали грязно-серого цвета, как талый снег по весне. Зимой и летом в валенках и старой драной телогрейке. Очень громко говорит. Постоянно смеется и как-то странно заикается. Не к-к-к-к, а ыыуууууу на гласных.

Детми мы над ним смеялись. Стреляли в него из рогатки. Володя смешно бегал за нами и кричал: «ыыуууу убьюыыуу сыыыууууки». Но мы знали, что он пробежит за нами не больше десяти секунд. Потом встанет, возьмется за голову и забудет, куда бежал.

На самом деле мы боялись Володи. Из-за мертвецов и собак. Его так и звали в городе – лучший друг мертвецов и собак. Собак не так давно стали уничтожать в городах, да и то исключительно в больших и разрастающихся. В маленьких и умирающих собаки по-прежнему составляют тридцать процентов населения. Еще тридцать – кошки и воробьи. Все бродячие собаки города любили Володю. Когда он бродил в поисках бутылок, за ним всегда следовала приличная стая бродячих псов. Всех мастей. Некоторые очень похожи на Володю – скрюченные и кудрявые. Может, оттого, что он умел разговаривать на их языке из-за этого своего – ыыуууу.

Раньше в маленьких городах была жуткая традиция – фотографировать похороны. Страшнейшее из искусств. Фотографировали процессию, гроб, покойника, могилу. В том городе на многих фотографиях был Володя. Вот он вместе с родственниками опускает на веревках гроб. Вот он на поминках. Вот он несет вместо венка лохматую еловую лапу. На похороны Володя ходил с такой же аккуратностью, как в Москве ходят на работу в офис. На все похороны. Всех людей в городе. Если вы встретили на улице Володю, за которым повизгивает и машет куцыми хвостами свора бродячих собак – значит, кто-то в Холмгороде умер.

Прогонять, как известно, с похорон и поминок нельзя. Любой человек может зайти и помянуть. Володя и ходил. Каждый день был сыт и пьян. Если бы он посещал только мероприятия по случаю рождения – очень скоро умер бы от голода. Умирать в Холмгороде привыкли ежедневно, а рождаться больше по праздникам или случайно. Поэтому за Володю можно было не беспокоиться. Он питался на поминках, забирал объедки для своих собак, но и помогал родственникам покойника. Там, где родственников оказывалось мало, Володя оказывался настоящим спасителем. Погрузить из морга. Опустить в могилу. Землей присыпать.

Я стал взрослым. Володя постарел. Сумасшествия в нем осталось мало, а глаза стали такими, что в них не хочется смотреть. От постоянного вида смерти в них накопилось слишком много жизни. Смотреть в такие глаза невыносимо, особенно, когда знаешь, откуда взялась эта глубина.

Володя знал все ключевые даты: девять дней, сорок дней, полгода, год. Он помнил все похороны и каждого покойника. Часто родственники злились на него. За то, что приходит. Ест руками, пьет ведрами, говорить нормально не может, только – ыыыууууу.

А потом Володя умер.

Упал на улице и умер. Первый же прохожий узнал Володю и остановил на дороге машину.

– Володя умер, – сказал прохожий водителю.

– Как это умер? – удивился водитель и сразу понял, о каком Володе речь.

Водитель выскочил из машины, погрузил Володю и отвез в морг.

– Мне их уже класть некуда, – разозлился на водителя дежурный врач.

– Это Володя, – спокойно сказал водитель. Володю пустили. Скоро к моргу стали приходить люди и собаки. Начальник местной милиции купил Володе дорожный гроб. Самый дорогой из всех, что были. Начальник кладбища выделил под могилу лучшее место. На холмике.

– Для себя берег, – признался кладбищенский начальник.

Директор Дома культуры отправил на похороны полноценный оркестр, из воинской части приехал грузовик.

Это были самые шикарные похороны в истории города. Процессия тянулась через всю улицу Ленина. Чуть ли не от Пивзавода до Слободы. Замыкали шествие бродячие собаки. Город плакал, а Володя лежал в гробу, и казалось – улыбается. Хоронить на холмике не стали. Закопали рядом с Зиной.

Ночью на кладбище выли собаки, а перепуганный кладбищенский сторож уверял наутро, что слышал смех и длинное «ыыыыыууууууу».

Не поверили. Не стал бы шуметь на кладбище лучший друг мертвецов.

## Мотылек

Вряд ли в Холмгороде есть хоть один человек, понимающий, почему Холмгород зовется городом. Город – это что-то шумящее, большое и бессмысленное. В Холмгороде, казалось, даже машины передвигаются бесшумно, боясь нарушить покой его жителей. Та его часть, что могла называться городом – школы, детские сады, мэрия, Дом культуры, спортивная школа, краеведческий музей, городской парк, – все это словно кто-то сначала скомкал в руках, а затем бросил между двумя холмами. И оно как-то там рассыпалось, улеглось, притерлось, вросло в землю и теперь существует. Остальная часть Холмгорода – настоящая и живая – ютилась на этих двух холмах в деревенских домах. В большинстве старые и уставшие, они медленно сползают вниз и скоро повалятся туда, к городу, будто детские кубики.

В Холмгороде ходит легенда, что когда-то здесь была чуть ли не судоходная река, а потом куда-то делась. Сейчас здесь есть речка Грязнуха. Грязный мутный ручеек на дне оврага, но ручеек начинался за городом и исчезал тоже за пределами города, поэтому до сих пор носил гордое имя – речка. Называть Грязнуху рекой все же никто не осмеливался. Тех, кто жил на другом берегу Грязнухи, называли зареченскими, а сам район «за речкой». За речкой толпились самые старые дома в городе. За речкой жил Мотылек.

В основном соседи не любили Мотылька. Для людей естественно не любить то, чего они боятся, или то, чего не понимают. Мотылька и понять невозможно, и для того чтобы бояться, вполне хватало оснований.

Мотыльком назвал его я. Для себя. Большинство соседей или прохожих, встречающих Мотылька, называли его дебилом или дураком.

Чем он болел и зачем ловил в воздухе руками только ему видимых существ, не знаю. Мне почему-то представлялось, что ловил он мотыльков. Не может человек, выглядящий на все сорок, но остановившийся в развитии на уровне пяти лет, ловить в воздухе что-то некрасивое или плохое. А мотыльки ведь красивые и неплохие? Они почти бабочки, которые от горя потеряли весь цвет.

Он всегда гулял с мамой. Усохшая, худенькая старушка с глубокими бороздами морщин и глазами, в которых, если присмотреться, можно увидеть саму сущность жизни, прожитой в вечной борьбе за выживание, и не всегда свое выживание.

Мотылек агрессивен, насколько может быть агрессивным шестилетний ребенок. Вот с дерева полетел осенний листок, и он сломя голову бежит за ним, не замечая никого вокруг. Прохожие видят только сорокалетнего бородатого мужика, который, дико вращая глазами, несется по тротуару, кричит от восторга и пытается поймать листок. Старушка извиняется за него, берет за руку, но каждые десять метров мир снова преподносит Мотыльку что-то удивительное и необычное: лужа на асфальте, сработавшая сигнализация у припаркованной машины, человек в слишком яркой одежде или мотыльки, никому не видимые мотыльки.

Из года в год я наблюдал, как старушка становится тоньше и невесомее, как ее все больше сгибает реальность. И даже Грязнуха стала для нее непростым препятствием, если нужно было попасть в другую часть Холмгорода. Если я встречался с ней глазами, в них читалось одно: «Что с ним будет, когда я умру?»

На моей памяти только один раз Грязнуха напомнила жителям Холмгорода, что она река. В тот год была необычайно снежная зима, а весна прогнала холод за неделю. Грязнуха проснулась и забурлила, жадно глотая тающий снег. В некоторых местах Грязнуха поднялась так, что взрослому человеку была по горло. Той весной умерла мать Мотылька. Возле Грязнухи. Пыталась перейти речку по бревнам, что набросали мужики для переправы. Быстро умерла. Охнула, схватилась за сердце и села на землю.

Я был там в тот день. Видел участкового, машину скорой помощи и дремлющего головой на руле водителя. Еще я заметил маленькие, почти детские ноги, в смешных стоптанных черных тапочках, торчавшие из-под простыни на носилках, и понял, что мама Мотылька умерла. Мотылек стоял на коленях в луже растаявшего снега, смеялся и махал в воздухе руками.

Наверное, даже хорошо, что он никогда не поймет, что произошло. А может, я просто утешаю себя мыслью, что он ничего не понял. Потому что как только я начинаю об этом думать, мне сразу хочется замахать руками и отогнать назойливых мотыльков.

## Ночь в Холмгороде

Никто не видел закатов или рассветов в Холмгороде. Здесь ночь наступает мгновенно. Словно в комнате выключили свет. Поэтому фонари вдоль улицы Ленина включают за час до того, как ночь обвалится на город. Если смотреть с одного из двух холмов, кажется, будто внизу не подсвеченная фонарями улица, а оранжевая, даже апельсинового цвета, река. Я для себя решил, что это ночное воплощение речки Грязнухи.

Несмотря на вялое течение жизни, со стороны больше похоже на медленную смерть от старости, однажды Холмгород вздрогнул. Площадь Ленина, куда впадает и откуда вытекает улица Ленина, наполнилась людьми. Кто-то даже принес красный флаг с серпом и молотом, где черным кто-то написал «Не трогайте наш свет». Людей было много. Они стояли молча. Только этот флаг развевался на ветру.

Мэр Холмгорода по прозвищу Сторож вышел на крыльцо здания мэрии и молча смотрел на толпу. Толпа молча смотрела на Сторожа. Это был самый неистовый митинг, который я когда-либо видел. В нем было столько силы и страсти, что, казалось, если вопрос не решится, завтра начнется революция. На площади было так тихо, что можно было услышать, как ветер щелкает на кончиках крыльев ласточек, низко закладывающих виражи из-за близости дождя.

Сторожем мэра прозвали потому, что, как только на Холмгород падала ночь, он отправлялся сторожить городское кладбище. Только там можно было попасть к мэру на прием и только ночью. Днем он отсыпался у себя в кабинете в мэрии. К Сторожу мало кто любил ходить. Мэр не только сторожил кладбище по ночам, но и копал могилы для тех, кого принесут сюда завтра.

Просителям приходилось брать лопату и помогать. Такой труд оставляет в голове мало места для вопросов, и в большинстве случаев желающие попасть на прием уходили ни с чем, так и не задав ни одного вопроса.

Появление мэра на митинге значило только одно: молчание толпы было настолько оглушительным, что уснуть у себя в кабинете Сторожу не удалось. Он понял: есть слишком серьезная причина для такого страшного молчания людей на площади. И причина действительно была. Кто-то умный и большой, может быть губернатор, решил заменить в фонарях на улице Ленина старые лампы на энергосберегающие с ядовитым белым светом. И больше не будет ночного воплощения Грязнухи. Не будет по ночам апельсиновой реки. Еще и включаться они будут автоматически, по мере наступления темноты, а у ночи в Холмгороде нет меры: безмерна ночь в Холмгороде и мгновенна.

Люди смотрели на Сторожа, Сторож смотрел на людей. Ласточки. Флаг. Тишина. Помолчали, разошлись.

Ближе к ночи я шел по улице Ленина в сторону Слободы. От Слободы налево, по тропинке вверх, и можно попасть на городское кладбище. Три дня назад похоронили Володю, а завтра будут хоронить маму Мотылька. Мне хотелось помочь Сторожу с могилкой и узнать, правда ли по ночам на кладбище можно услышать Володино ыыууууу.

Фонари на улице горели заранее. Значит, жители не зря вышли на митинг. Ночь поймала меня уже у Слободы. Было так приятно понимать, что сейчас, если подняться на один из холмов, там, где я иду, будет апельсиновая река. Я люблю ночь в Холмгороде. Люблю отсутствие закатов и рассветов.

## Сторож

Раньше в Холмгороде было два кладбища. Но старое пустили под бульдозер, и на его месте построили стадион. Не знаю, что помешало вывезти старинные надгробные камни, но теперь они валялись тут же, недалеко от беговой дорожки, опоясывающей футбольное поле.

Когда я учился в школе, уроки физкультуры в теплое время года проводили здесь, на стадионе. С другом Витькой мы любили улизнуть с беговой дорожки на дальней дуге и спрятаться за сваленные в кучу надгробные камни. Даже в жару среди них было прохладно и сыро. Мы читали имена и фамилии на камнях, покрытых склизким зеленым грибком, пытались посчитать, сколько лет назад родился и умер человек, но настолько далекие года, где вместо привычной девятки после единицы стоит восьмерка, не поддавались исчислению. От этого становилось жутко и холодно.

Прятались ровно до того момента, как оставался последний круг и наш класс снова пробегал по дальней дуге к финишу. Мы выскакивали, пристраивались в хвост и уже перед самым финишем вырывались вперед, будто из последних сил. Конечно, это было нечестно, но Витька говорил, что прибегаем мы первыми, потому что мертвецы с жуткой восьмеркой после единицы дают нам силы. Я отвечал, что это оттого, что мы отсиживались, пока все бегали, но мой друг говорил так убежденно, что я и сам начинал верить.

Странно, что никто в классе ни разу не проговорился и не сдал нас. Витька был уверен: это из-за того, что мы дружим с мертвецами. И тут мне нечего было ответить. Кроме нас так больше никто не делал, а после финиша остальной класс нас с Витькой сторонился, словно мы с ним покрылись склизким зеленым грибком с надгробий.

Теперь Витька – мэр города, а по ночам сторожит городское кладбище. Как только он стал мэром, тут же закрыл стадион. Вроде бы на ремонт, но годы шли, стадион ветшал, разваливался, и вот уже оказалось, что ремонтировать особо и нечего. Рядом со стадионом построили церковь. Старые надгробия вывезли на новое кладбище и составили возле избушки Сторожа. Люди говорят, что иногда видят Сторожа, сидящего меж надгробных камней. Он что-то шепчет, водит пальцами по именам и фамилиям, по датам рождения и смерти. Улыбается. Врут, наверное.

Я прошел мимо церкви, мимо стадиона и перед Слободой свернул налево. Новое кладбище в Холмгороде было самым ярким местом. Так повелось – красить оградки только в кричащие цвета. Здесь и салатовый, и бирюзовый, и фуксия. Оранжевый и красный, голубой и фиолетовый, а кресты над могилами в один цвет – розовый. А песок на могилах не крашенный – холмгородский – рыжий.

Сторож сидел на крыльце с бас-гитарой, подключенной к комбику.

– Привет, – сказал я.

– Привет, – ответил он, – присаживайся.

Я сел рядом с ним. Сторож чуть коснулся струн. Я не услышал, но почувствовал, как завибрировала струна. Сторож нашел ритм и запел:

Я сделан из далеких городов,  
В которых, может, никогда не буду.  
Я эти города люблю за то,  
Что люди в них живут и верят в чудо.

Дальше он запнулся и продолжил петь неразборчиво, как делают дети, когда забыли текст песни, но во что бы то ни стало хотят продолжить. Затем Сторож снова нашелся:

Я сделан из недаренных цветов,  
Я из упреков, споров, возражений.  
Я состою из самых длинных слов,  
А также из коротких предложений.

- Твои стихи? – спросил я, когда он закончил.
- Нет, это группа «Альфа», песня называется «Я сделан из такого вещества».
- Красиво.
- Красиво.
- Сторож вошел в избушку и вынес две лопаты.
- Пошли? – он посмотрел на небо и повел носом. – Ночь будет теплой.
- Пойдем.

Ночь упала с неба, когда мы уже заканчивали могилу для мамы Мотылька. Идти пришлось почти на ощупь.

– Правда, что Володя по ночам по кладбищу носится? – спросил я, когда мы вернулись к избушке.

- Правда, сейчас покажу.

Сторож взял бас-гитару. Он выкрутил громкость на полную и, что было сил, оттянул самую толстую струну. Звук получился громкий, глубокий. Мне показалось, что он не снаружи, а где-то внутри меня. Когда снова стало тихо, я услышал вдалеке Володино быуууу.

- А чего он носится? – спросил я.
- Счастлив.
- Почему?
- Да пес его знает.
- Я пойду.
- Иди, – Сторож пожал мне руку.
- Помнишь, как мы дружили с мертвецами, Вить? Сторож вздрогнул, услышав свое имя.
- Помню, я с ними до сих пор дружу.

Когда вышел за ворота кладбища, я снова услышал песню Сторожа:

Я сделан из такого вещества,  
Из двух неразрешимых столкновений.  
Из ярких красок, полных торжества,  
Из черных подозрительных сомнений.

«Альфа», – запомнил я для себя название группы. – Странно, что Витька теперь совсем седой. Странно, что я теперь совсем лысый», – подумал я. Больше в ту ночь в Холмгороде ничего мне странным не показалось. Ну, может, только то, что ночь была слишком теплой. Да, наверное, еще ночь.

## Монолог на Пивзаводе

На Пивзавод лучше всего идти утром. Когда день в Холмгороде уже вспыхнул, но на часах еще утро. В других городах в это время рассвет.

Пивзавод – мой любимый район города. Самого завода давно уже нет, на его месте склады, куда сгружают привозное пиво, а затем развозят по магазинам Холмгорода.

Все, кто здесь когда-либо жил, работал на этих складах. Точнее все, кто мог и хотел работать. То есть примерно половина населения района. Остальная половина занималась тем, что по ночам воровала пиво со складов. Это было несложно, учитывая, что зачастую в семье один воровал, другой охранял.

Но любил я Пивзавод не за это, а за то, что каждый житель здесь тысяча девятьсот восьмидесятого года рождения. За исключением детей, конечно. Дети Пивзавода родились в двухтысячном. Им сейчас по девятнадцать. Родителям по тридцать девять. Оба поколения страдали, стоя на границе ключевого возраста. Молодые боялись, что в двадцать сразу станут такими, как отцы и матери, отцы и матери боялись, что в сорок кончится время надежд и веры в лучшее, время идей. Я и сам родился в восьмидесятом, но в отличие от них не понимал, зачем они в лучшее «верят», когда лучшее уже здесь и сейчас. Ведь Холмгород и так лучший город на земле.

Старшее поколение называло себя олимпийцами по праву рождения в год Олимпиады в Москве, а младшее олимпийцы называли «линолеум». По праву рождения на границе тысячелетий – в миллениум. Олимпийцы и линолеум не враждовали и не имели друг к другу претензий. Они мирно существовали на границе тех своих миров, в которых окажутся через год. От чего много пили, тяжело работали и верили, что это последний год существования Холмгорода.

Олимпийцы хотели сгинуть вместе с ним, линолеум надеялся уехать. И те, и другие, по мне, были неправы, но я бесконечно любил этих людей за то, что никаких других проблем у них не было, и за то, что никто на Пивзаводе пока еще не умер. Не шли отсюда похоронные процессии, и я думал, что олимпийцы и линолеум будут жить вечно, но не говорил им об этом, не хотел расстраивать. Даже если бы на Пивзаводе вообще не было людей, я все равно любил бы этот район за то, что солнце всегда вспыхивает и гаснет именно над ним и полная луна неизменно висит над Пивзаводом.

Приходил я сюда в гости к Танцору. Когда-то он работал в Доме культуры, пока тот не закрылся. Работал вместе со старшим братом. Преподавали бальные танцы. Оба были великолепными танцорами в прошлом. Многочисленные награды и медали, заслуженные работники культуры. Когда ДК закрыли, младший брат поселился на Пивзаводе, старший нашел жилье в Слободе и устроился в полицию. С тех пор они не общались. Танцор всегда радушно встречал меня, может, потому, что действительно был рад, а может, из-за того, что всегда был пьян.

Мы пили с Танцором до обеда. Затем жарили картошку, ели и снова пили до ужина. На ужин варили пельмени, после ужина снова пили и ждали ночь. А ночью загоралась полная луна.

Луна в Холмгороде невероятных размеров. Иногда кажется, что ее свет даже греет. Я приходил ради этой луны, а еще из-за того, что Танцор выйдет во двор, посмотрит на луну и начнет танцевать. Свой танец он называл – одинокая румба. Объяснял название танцор просто: «Румба – танец любви, к тому же парный, а я тут один кочевряжусь». Когда я спрашивал зачем, он отвечал, что сильно любит, только не знает кого или что. Любовь в нем сама по себе, от него не зависит, и сделать он с ней ничего не может. Поэтому румба. Поэтому одинокая. Такой ответ меня устраивал. Танцевал он без музыки, но танцевал так, что музыка сама рождалась в голове. Это был прекрасный танец и прекрасная музыка. Танцор уверял, что у каждого, кто видит его танец, в голове звучит одна и та же мелодия. У меня не было причин ему не верить.

После танца мы снова пили. Танцор много курил и уверял меня, что когда-нибудь луна упадет на Холмгород. Луна такая огромная здесь от того, что не висит на небе, а медленно падает, и он своим танцем возвращает ее на место. Может, Танцор и прав. Проверять я это не хотел и ходил к нему в гости, чтобы полная луна, как и прежде, висела на небе. Такая же одинокая, как одинокая румба Танцора.

Когда солнце снова было на небе, Танцор шел спать, а я отправлялся к дому Оратора. Каждый день он выходил на крыльцо и кричал: «Приветствую, Пивзавод, приветствую, олимпийцы, приветствую, линолеум. Все скоро закончится! Слушайте меня. Все скоро закончится! Это говорю вам я – Оратор». Далее шел длинный монолог, почему «все скоро закончится», и слушать его можно было бесконечно, так умело складывал слова в предложения Оратор. Тема всегда была одна и та же, но причины, по которым «все скоро должно закончиться», находились новые.

Поколение олимпийцев Оратор называл очарованным и объяснял это тем, что плакал медведь. А плакал медведь, по его словам, улетая в небо в тысяча девятьсот восьмидесятом году, потому что в роддомах орали олимпийцы. Им резали пуповины, пеленали, но не говорили, что они станут самыми бесполезными, но самыми очарованными жизнью людьми, когда-либо рождавшимися в России.

Люди, появившиеся на свет в этот год, не попали ни в одно из многочисленных течений реки времени и шли на ощупь вброд. Им пришлось верить и в Ленина, и в Дедушку Мороза, любить и Чапаева, и Джона Макклейна. Спрашивать у родителей, почему Деда Мороза по телевизору теперь зовут Санта Клаус. А что могли ответить родители? Не знаю, вот что. И это «не знаю» стало причиной неизвестности. Неизвестности, вставшей в один ряд с бесконечностью. Неизвестностью, которую теперь можно было не только чувствовать, но и осязать, трогать, видеть и так же, как и бесконечность – не понимать.

Оратор рассказывал, что неизвестность обрушилась на него словами классного руководителя Анфисы Иннокентьевны: «Тебе должно быть стыдно, а твоим родителям и подавно! Ты единственный из всего класса не будешь принят в пионеры».

Оратор не удивился этой новости. От коллективных ценностей он был отлучен из-за длинных Юлькиных косичек, которые, безусловно, существовали только для того, чтобы за них дергать, и конденсатора в нерабочей лампе дневного освещения в коридоре школы. Конденсатор был изъят. К нему приделана электрическая вилка. Конденсатор заряжался от розетки и разряжался об Юльку с дурацкими косичками. Юлька визжала и плакала, от чего сотрясались принципы всей советской пионерии.

Дома мать пожалала плечами, услышав эту новость. Отец швыркнул чаем и сказал:

– Гордись.

Оратор примерно такой реакции и ожидал.

– Скоро все это закончится, – добавил отец.

Что именно закончится и как скоро, он пытался понять тем же вечером перед сном, рассматривая замысловатую трещину на потолке. Не давала покоя мысль, что закончится именно «все». Вообще все. Закончится он, мать и отец. Даже эта комната закончится. Останется только трещина на потолке. Не понятно, как именно она останется, если потолок закончится, но что-то же должно оставаться, когда заканчивается «все»?

В пионеры Оратора, конечно, приняли. Намного позже, чем остальных. Без поздравлений и церемоний сказали: «Можешь носить галстук». А он и стал носить.

В этот же день в коридоре школы кто-то из старшеклассников подошел к Оратору, взялся за концы галстука и зловеще спросил: «Ленина любишь?» И, не дождавшись ответа, затянул узел так, что развязать его не было никакой возможности. Дома отец разрезал галстук и выбросил в мусорное ведро. Оратор смотрел на красную атласную тряпку среди картофельных очист-

ков и вспоротых консервных банок, не понимая, к чему были все эти сложности с принятием в пионеры.

Через несколько дней в школе никто не носил пионерских галстуков. Еще через несколько отец, сидя на кухне перед телевизором, сказал:

– Ну, вот все и закончилось.

Оратор зашел к себе в комнату и посмотрел на потолок. Потолок был на месте, как и трещина. «Значит, все еще не закончилось», – подумал тогда Оратор и оказался прав.

Когда Оратор заканчивал монолог, я отправлялся домой. Шел по улице Ленина в центр Холмгорода, а в спину светила огромная полная луна. Наверное, когда-нибудь она упадет на Пивзавод. Но не завтра, и завтра все не закончится.

## Актриса

Танцор звал меня жить на Пивзавод, но мне хотелось оставаться посередине. В самом центре Холмгорода – между Слободой и Пивзаводом.

Здесь, рядом с площадью Ленина, стоит Дом культуры. ДК закрыт уж лет пятнадцать как, но жизнь в нем поддерживается двумя сотрудниками, вышедшими на пенсию – электриком, по прозвищу Храп, и вахтершей Валентиной. Оба тут же и живут. Благо места хватает. Храп на верхотуре в кинобудке. Валентина в студии бального танца. Выбор Храпа очевиден – в кинобудке теплее. Почему Валентина выбрала танцевальную студию, я раньше не понимал. Пока Храп не рассказал, что это из-за стены зеркал. По ночам Валентина ворожит холмгородским бабам. Жжет черные свечи, пламя, многократно отраженное в зеркалах, добавляет мистики, а ворожба без мистики не работает.

Я живу в подвале ДК. Попасть в него можно через оркестровую яму. Здесь удобная комната, в прошлом – костюмерная. Старые костюмы, пропахшие лавандой от моли, служат мне и постелью, и одеялом. В оркестровой яме у меня стоит плитка на одну конфорку и электрический чайник. Иногда я спал на сцене, завернувшись в кулису. Но это только в те ночи, когда ждал ее.

Актриса работала в Слободе на пропускном пункте между Холмгородом и Монголией. Работа на таможене – единственное денежное место в городе, и каждый, кто не хотел жить на Пивзаводе или за Грязнухой, хотел бы там трудиться.

Слободские работали на таможене, и Слобода процветала. Здесь шумели машинами, школами и детскими садами новые районы. Здесь можно было поесть бургеров или пиццы; здесь возвышались над жилыми районами торговые центры; здесь стояли продуктовые гипермаркеты; здесь ждали, когда в кинотеатре будут крутить новый блокбастер от Marvel.

Если живешь в Слободе, никакого смысла в остальном Холмгороде нет. Большинство жителей Слободы были знакомы только с одним местом в Холмгороде – кладбищем.

Актриса, конечно, жила в Слободе. Но иногда по ночам она приходила в ДК. Обычно по средам. И я поднимался из подвала через оркестровую яму на сцену и заворачивался в кулису, чтобы не спугнуть ее.

Не знаю, как ее звали. Да это было и не важно. Она поднималась на сцену и кричала через мертвый зрительный зал в окошко будки киномеханика:

– Храп, свет!

– Сейчас, милая, – отвечал Храп и включал проектор.

От проектора получался идеальный круг света на сцене. Актриса вставала в центр круга и закрывала глаза. Я любовался ею и старался не шевелиться, чтобы она не догадалась, что у нее есть зритель. Худая до звона. Со светло-кариими глазами, слегка подернутыми болотной зеленцой. Выющиеся черные волосы ниже плеч. Нос с высокой горбинкой, словно вылепленный античным скульптором. Бледная, с румянцем на скулах. Тонкие пальцы украшены кольцами – работой безумного Ювелира, похожие больше на листья и коренья, чем на ювелирные изделия. Высокий тревожный голос, беспокойные руки, словно не принадлежащие ей и двигающиеся в разлад с эмоциями.

Она читала что-то из Шекспира, иногда из Островского, а иногда баловалась Чеховым. Я делал в кулисе складку и смотрел, как вокруг актрисы толпились в изумленьи тени. Не знаю, видела ли она их, но тени видели ее. «Великая, великая», – шептал я про себя. «Великая, великая», – шептали тени.

Ближе к утру из кинобудки раздавался оглушительный храп. Храп храпел. Он забывал про сцену. Гас проектор. Актриса еще долго стояла в темноте, словно ждала, пока разойдутся тени.

В одну из ночей Актриса меня заметила. Она подошла и тронула кулису.

– Ты здесь?

– Здесь, – ответил я.

– Ты всё видел?

– Много раз.

– Какая роль тебе понравилась больше всего? Я вылез из кулисы и сказал:

– Твоя роль. Роль актрисы.

– И как тебе?

– Великая.

Мы легли вместе. Укутались в кулису. Кажется, она плакала, кажется, она смеялась. Сложно было понять в темноте. В ту ночь тени со сцены не ушли – молча стояли и смотрели на нас. В ту ночь Храп не захрапел. Он дернул за рычаг и опустил экран на сцену. Храп зарядил в проектор пленку. Я слышал, как он матерится в кинобудке и зовет электрика, чтобы тот включил и продул колонки. Актриса прижималась ко мне всем телом. Холодные ноги и холодный нос. Горячее дыхание. Тонкие губы. Электрик долго копался, но справился. Храп включил «Звездные войны». Четвертую – лучшую часть. Когда титры поплыли в глубину, Храп нам их озвучил, заорав из окошка кинобудки: «Давным-давно в далекой галактике...»

– Любишь звездные войны? – спросил я у Актрисы.

– Обожаю, – ответила она.

## Ювелир

Если уйти дальше Пивзавода, туда, где начинается лес, идти просекой и свернуть направо, затем пробраться через бурелом, можно дойти до Ювелира.

Среди вековых сосен, сухостоя и лапастых елей – полянка и серебрится ручей. Здесь живет, словно на острове, Ювелир.

Холмгородцы не любят Ювелира за скверный характер и нелюдимость. Но никто в Холмгороде не отрицает его таланта. Вся Слобода покупает его украшения. К нему редко кто-то приходит, разве что почтальон и лесничий – проверить, не срубил ли Ювелир лишнее дерево, да Актриса – единственный человек, вхожий к Ювелиру без стука. Она приносит ему кольца, серьги, кулоны, цепочки, купленные в обычном ювелирном магазине в Слободе, а он плавит их в золото и серебро для своих изделий. Кольца он делает по размеру пальцев Актрисы и считает, что, если они не подходят кому-то еще, значит, он недостоин. Таким приходится довольствоваться серьгами и другими безразмерными творениями Ювелира.

Если кто-то вздумает сделать у него заказ, Ювелир не откажет, но заказчик получит изделие из обычного камня, где не будет ни грамма золота или серебра. Мне казалось, что именно такие украшения у Ювелира получались лучше всего. Актриса со мной соглашалась. Да и сам Ювелир считал так же. Он ненавидел золото и серебро, поэтому всегда обрабатывал их так, чтобы невозможно было понять, что это благородные металлы. Он не обрабатывал камни, не признавал классические линии. От того его украшения имели подлинную красоту заложенного в них смысла. А смысл Ювелир объяснял так: «Я хочу сохранить красоту того, что вижу, красоту каждого дерева, каждой веточки, каждого листа и травинки. Я ничего не создаю, я только пытаюсь не дать умереть хрупкой красоте окружающего меня мира. Все, что сейчас есть, когда-то исчезнет, может, когда-то не будет травы и деревьев и тогда, через многие века, археологи будущего найдут мои украшения и поймут, насколько красив был мир, который мне посчастливилось видеть». Так он мне сказал однажды.

Я ходил к нему нечасто. Ювелир не был ко мне расположен, но допускал мое присутствие. Я любил смотреть, как он работает. Сначала он бегал по лесу и собирал с земли мельчайшие веточки, искал особенные травинки, выкапывал коренья. Долго рассматривал их, и в этот момент мне казалось, что он по-настоящему счастлив. Затем он запирался в избе. Я слышал, как он кричит, как ругает тех, кто будет носить его украшения, но никогда не поймет, что он имеет в виду, не рассмотрит всей красоты, а будет носить только потому, что его произведения необычайно популярны в Холмгороде, особенно в Слободе.

Он никогда не повторил ни одного изделия. Каждое украшение было уникальным. Ходили слухи, что и за пределами Холмгорода знают о Ювелире. Я не верил в это. Разве есть что-то за пределами Холмгорода?

В один из дней, когда я сидел на пороге перед домом Ювелира и слушал, как он бранится, создавая очередной шедевр, он выскочил из дома, посмотрел на меня безумными глазами и бросил что-то мне под ноги. Я поднял и увидел, что это кольцо.

– Бери, это тебе, – сказал Ювелир и побежал, громко матерясь, в лес.

Кольцо подошло только на большой палец. Оно было превосходно. Казалось, это не украшение, а скорее дефект пальца из-за перелома и неправильно сросшейся кости.

Ночью я показал кольцо Актрисе.

– Жалко, что нигде кроме Холмгорода не знают о нем, – сказала она.

– Ты про Ювелира? – спросил я.

– Да, кто-нибудь должен про него рассказать.

Я крутил кольцо на пальце и думал о словах Актрисы. Может, действительно пришло время рассказать о нем и не только о нем. Может, пора людям узнать и о Стороже, и о Танцоре.

Узнать про Мотылька и про Актрису. Про город, где не бывает закатов и рассветов. Про всегда полную луну. Узнать об апельсиновой реке.

– Наверное, я когда-нибудь отсюда уеду, – сказал я Актрисе.

Она ничего не ответила. Я тронул пальцем ее губы и понял, что она улыбается в темноте.

## Поезд

Лес горел. Где-то за Пивзаводом. Холмгород затянуло дымом. Было такое ощущение, что на голове целлофановый пакет. Солнце не греет. Солнце похоже на угли от костра. Дышать тяжело, хочется вдохнуть полной грудью, но дым забивает легкие, вызывая приступы кашля, переходящие в тошноту. Дым настолько плотный, что не видно вытянутой руки.

Мне не понравился Холмгород в этот день. Мне не хотелось здесь быть, и я искал еще какие-то причины, кроме дымовой завесы, и причина нашлась – рассказать. Рассказать про Ювелира, про всех рассказать, но мне нужны были доказательства. У меня есть кольцо Ювелира, и его существование уже неоспоримо, но что делать с остальными? Тогда я вспомнил про Фотографа и Писателя.

Фотограф жил за Грязнухой на Красной улице, названной так из-за того, что в доме Фотографа всегда горел красный свет. По ночам свет в его окнах задавал настроение всей улице, отсюда и название. Ходили слухи, что Фотограф гениален, только давно не печатал новых фотографий. Много лет не печатал, да и с фотоаппаратом его много лет не видели. Но свет в доме Фотографа по-прежнему красный, значит, он все еще фотограф. А лучшего доказательства, чем фотографии Холмгорода, я придумать не мог.

Я перешел Грязнуху, поднялся в горку и нашел дом Фотографа. Беспokoить среди бела дня его не хотелось, и я решил дождаться ночи. Как только темень окутала Холмгород, в доме Фотографа зажглись красным окна. Я постучал в дверь.

Фотограф открыл сразу же. Я хотел поздороваться, но он заткнул мне рот ладонью. Он закрыл дверь перед носом, но уже через минуту выскочил на крыльцо, держа в руках лист бумаги с вырезанным в середине квадратом. Приложил к лицу так, чтобы квадрат попал на глаз, посмотрел через него на меня и сказал: «Клац».

– Клац? – спросил я.

– Ты в дыму очень эпично смотришься, я тебя сфотографировал.

– Как это? Через лист бумаги?

– Это для кадрирования, никак не могу научиться кадрировать только глазами.

– Такую фотографию не напечатать.

– Не все фотографии должны быть напечатаны. Главное, зафиксировать момент в сознании, а пространство увековечит такой снимок в себе. Что может быть надежнее? – Фотограф вошел в избу. – Заходи, коли пришел.

– Я уезжаю, – сказал я.

– Никто не уезжает из Холмгорода.

– Знаю. Но поеду.

– А я причем?

– Мне нужны доказательства.

– Какие? – Фотограф поставил на печку закопченный чайник.

– Любые. Есть фотографии? Только не вечные – для пространства, а материальные – для людей.

Фотограф достал из-под стола коробку, поставил на стол, долго рылся в ней и, наконец, достал оттуда фотографию.

– Держи, – он протянул снимок мне.

На фото мы со Сторожем сидим около его избы на кладбище. Сторож с бас-гитарой в руках. Я сижу, подперев подбородок руками.

– Как? Как ты это сделал? Тебя же там не было! – удивился я.

– Я же фотограф, меня не должно быть заметно. Иначе как поймать момент?

– Да, наверное. Есть еще?

Фотограф доставал из коробки все новые фотографии. Черно-белые снимки, на которых было доказательство существования Холмгорода. Здесь и Володя, еще при жизни, идет в конце похоронной процессии, а позади него стая собак. На другой – Мотылек. Он ловит в воздухе только ему видимых существ. Еще одна, на ней Сторож на крыльце мэрии. Фотография сделана из толпы поверх голов. На следующей – Танцор и его одинокая румба. Дальше – Ювелир держит в руках осенний листок. Еще на одной Оратор и люди на Пивзаводе. Затем Актриса в круге света проектора. На последней фотографии, вытащенной из коробки, улица Ленина ночью, снятая с одного из холмов Холмгорода. Фотограф ткнул пальцем в точку посередине улицы:

– Это ты, – сказал он.

– Такой маленький, – удивился я, – незначительный.

– Ничего значительного нет в этом мире, пока мы сами этому не придадим значение, – сказал Фотограф и спросил: – Поедешь?

– Поеду. Завтра.

– Езжай, расскажи о нас.

– Дай фотоаппарат, – попросил я Фотографа.

Он ушел в другую комнату и вернулся оттуда с обшарпанной старой «Leica». Я попросил его выйти на крыльцо и сделал снимок. Фотограф в последний момент закрыл лицо рукой. От чего фотография получилась только лучше. В ней застыла жизнь и движение – а чего еще можно хотеть от фотографии?

Я уже собирался уходить, но Фотограф остановил меня и сказал:

– Не забудь зайти к Писателю, он через два дома живет. Пусть напишет о нас на обороте фотографий.

– Хорошо, – сказал я и отправился к дому Писателя.

Когда-то дом Писателя был самым шикарным жилищем в Холмгороде. Несмотря на то, что стоял он за Грязнухой, а не в Слободе. Трехэтажный деревянный домина. Холмгородцы верили, что это был первый дом, построенный в Холмгороде. Жил здесь в старину то ли граф, то ли князь. Лет десять назад дом сгорел. Уцелела только часть первого этажа, где и поселился Писатель.

Я не читал его произведений. Да никто в Холмгороде не читал, но ходили слухи, что пишет он хорошо, а не читают, потому что в Холмгороде не было издательства, а рукописи Писатель никому не давал. Откуда пошли слухи, непонятно, если никто и никогда не мог читать сочинений Писателя. Но слухам не нужны причины, им нужна только почва для цветения.

Писатель сидел на бревне возле дома и курил.

– Я уже слышал, – сказал он, когда я подошел.

– О чем? – спросил я.

– О том, что уезжаешь.

– Откуда?

– Слухи. И, знаешь, я согласен!

– Написать?

– Да! Давай фотографии, – глаза Писателя блеснули так, что мне показалось, будто он безумен.

Он выхватил у меня из рук фотографии и забежал в дом. Через минуту высунулся в окно и крикнул:

– Час! Дай мне час.

Я сел на бревно, где до этого сидел Писатель, и стал смотреть в небо. А неба сегодня не было. Полная луна над Пивзаводом пыталась всеми силами пробиться через дым, но она столько сил тратила на это, что от нее оставалось только мутное размытое пятно.

Через час появился Писатель. Он протянул мне фотографии. Каждая с обратной стороны была исписана мелкими аккуратными буквами.

Из-за дыма я смог различить только первый вагон. Дальше поезд терялся и казался бесконечным. «Слобода – Москва», – прочитал я на своем вагоне. Билета у меня не было, но проводник его и не спросил. Тогда я уточнил, могу ли ехать. Проводник посмотрел на меня так, словно это был самый глупый вопрос, что он когда-либо слышал.

Я смотрел в окно. Они все пришли на перрон провожать меня. Все. Я вглядывался в их лица и не мог поверить, что уезжаю из Холмгорода. Наверное, из того места, где ты по настоящему счастлив, можно уехать только так – без билета и планов, только с идеей в голове, которая не до конца приняла очертания. Наверное, такой же поезд, где мы – пассажиры без билета и без четкого плана на путь, увозит нас из детства. Каждая станция – прожитый год, и мы, в плацкартном вагоне, через случайных попутчиков получаем не нами прожитый опыт. И становимся взрослее. Не мудрее. Потому, что нельзя быть мудрее больше, чем ребенок, еще не получивший опыта дороги, опыта пути без плана, но только лишь с одной идеей.

Поезд набрал скорость, и мои холмгородцы остались в дыму на перроне.

На следующей остановке я достал фотографии и решил прочитать рассказы Писателя. Но с обратной стороны снимков было пусто. Когда поезд преодолел половину пути, я снова достал фотографии, но теперь они были пусты с обеих сторон. Девственной чистоты фотобумага. Никаких доказательств. И дым рассеялся, и поезд летит по стране, и никак я не докажу, что Холмгород есть.

Поезд подползал к Ярославскому вокзалу в Москве. Я достал фотобумагу, что раньше была фотографиями, попросил у попутчика ручку. Я руками чувствовал, кто именно был запечатлен здесь фотографом. Выбрал ту, от которой веяло могильным холодом, и написал: «Лучший друг мертвецов». Так я решил назвать Володю. И свой рассказ про Холмгород я решил начать с него, потому что в его «ыыыуууу» я слышал больше смысла, чем в любых словах, когда-либо сказанных человеком.

## Сиреневый ворон

### Убийца птиц

Выбесила сука. И красивая ведь. Почему красивые бабы в хорошей должности злые, словно им за это доплачивают? Началось все неплохо.

– Кто на собеседование?

Шпильки, брючки, сиськи, волосы в хвост – HR-менеджер, одним словом. Такую кадровичкой назвать сложно.

– Я, – отвечаю.

Сам думаю: какого с утра загнал в телефон лучшие песни Цоя и поехал на собеседование? Каким должно быть настроение, если сорок минут в электричке до Курского вокзала слушаешь о том, что надо идти под дождь и нечего думать про уют, про тепло и мечтать о такой бабе, на которую смотришь и автоматически хочется борща. Есть пачка сигарет и все тут. И место вон же для шага вперед: на работу он пошел устраиваться! На обратную дорогу у меня в телефоне Дельфин, и не факт, что я доеду, а не брошусь под электричку (для чего, в принципе, и существуют песни Дельфина), вопя на всю платформу – «мы обязательно встретимся».

– Расскажите немного о себе, – эйчарша устала мне в переносицу по всем правилам деловых переговоров, и у меня от тоски зачесался копчик.

– Мне сорок лет, живу в Московской области, в поселке Заря.

Я не верю в инструкцию, где говорится, куда смотреть на переговорах, поэтому тарасился ей прямо в глаза. Красивые карие глаза, в которых четко мелькнула мысль: «Его я на работу не возьму. Хочу чай и безе».

Выслушав мою биографию, больше похожую на исповедь, эйчарша пригласила вырвавшийся на свободу локон и сказала: «Давайте я немного расскажу о нашей компании».

Я не слушал. Запоминал запах ее духов, похожий на аромат шампанского и еще что-то кислое и что-то сладкое. Мысленно фотографировал ее глазами и откладывал ментальные снимки на ту полку памяти, где хранятся барышни для утреннего и вечернего онанизма.

– Вы меня слышите?

– А? Да.

– Я говорю, что обычно мы не даем кандидатам ответ сразу, но в вашем случае, я думаю, можно сделать исключение. Вы нам не подходите.

«Не забывайте о нас. Мы покидаем вас навсегда. Мы улетаем на Марс. В ракетах из яркого, детского сна», – пропел Дельфин у меня в наушниках, когда я спускался в метро.

Ненавижу квартиру, где живу. Точнее, комнату, которую снимаю в этой квартире. Вроде благодарить нужно Провидение, что нашлись добрые люди, сдавшие угол за квартплату, когда жить вообще негде. Но эта семейка в соседней комнате! Один папаша в обрыганной футболке Adidas и камуфлированных штанах чего стоит.

Жизнь на обочину выбрасывает резко и без видимых причин. Сидишь себе в офисе, администришь сайты, но тут подрастает поколение, родившееся после Nokia 3310. Ты до сих пор на Windows смотришь как на откровение, а они уже программируют с закрытыми глазами. А то, за что еще десять лет назад платили неплохие деньги, сейчас вообще автоматизированные системы делают за небольшую абонентскую плату. И зачем тебя держать? Потому что ты выразительно лысеешь, а в твоих мешках под глазами можно хранить использованные картриджи от офисного принтера?

Потом кончаются сбережения. Рвется в ключья первая пара кед, затем вторая, и ты едешь с Мосфильмовской, где снимал квартиру, в поселок Заря, чтобы в полной мере ощутить жесто-

кую буддийскую мудрость – ничто не длится вечно, практикуй непостоянство. Конечно, едешь один, а та замечательная жопа, что была с тобой все эти годы, куда-то исчезает. А ты не против. Потому что давно уже вышел из того возраста, когда считаешь, что женщина должна с тобой быть, даже если у тебя на лбу морщины, в которые можно картошку сажать, а денег хватает только на пельмени, бульмени, чебурепели и какие-нибудь опупели еще. На завтрак.

На Курском вокзале я купил билет до Зари, в тамбуре электрички оторвал язычок с номером телефона от объявления, манящего своей простотой – на Курский вокзал требуется разнорабочий. Соцпакет. Пятидневка. Достойная оплата труда. Возможность проживания.

В кабинете холодно. Осенний сквозняк всеми силами пытается выветрить табачный духан. Кадровичка, сидя за столом, смотрит на меня снизу вверх, словно из окопа. Она лет на пятнадцать моложе меня, но все равно хочется назвать ее тетей Мариной.

Тетя Марина – женщина из моего детства. Она торговала квасом из желтой бочки. У нее была огромная рыхлая, как ромовая баба, задница; пышная, словно домашний хлеб, грудь; золотой зуб и мягкие ладошки. Когда дед отправлял меня с алюминиевым бидончиком за квасом, она наливала мне бесплатный стаканчик и гладила по макушке. От нее вкусно пахло папиросами вперемешку с крепкими советскими духами.

Как вот это создание передо мной, младше и меня нынешнего, и тети Марины в прошлом, умудрилось в две тысячи семнадцатом сохранить такую аутентичность, я не понимаю.

Мне кажется, их такими делают вокзалы и трамваи. Как-то в трамвае я вдруг понял, что девушка – водитель трамвая – это же молодая, современная барышня. Не та могучая женщина из детства, где бочка кваса, а молодая баба. Но почему она выглядит именно так, как тетя Марина и те мощные женщины-водители советских трамваев? Почему она ведет себя так же? Почему молодые девки, которые вообще никак не застали совок, работающие на почте, в кассах метро и в кассах вокзалов, точно такие же тети Марины? Их там травят чем-то? В них вселяются души умерших тетей Марин?

– Сколько лет? – спросила кадровичка.

– Сорок, – ответил я.

– Когда можете выйти на работу?

– Завтра.

– Хорошо. Завтра в девять без опозданий.

– А куда конкретно подходить?

– Платформу, с которой экспресс «Спутник» отправляется, знаете?

– Знаю.

– Там в самом конце скамейка, на ней ждите. Это было самое быстрое успешное собеседование в моей жизни.

На скамейке сидел совсем уж какой-то архетипичный дед. Длинная, спутанная, совершенно седая борода, пожелтевшая на подбородке от никотина. Черный вязаный свитер с горлом, поверх – серый жилет с многочисленными карманами, армейские штаны галифе образца середины прошлого века, старательно начищенные хромовые сапоги. Меня поразили его ручки. Я сам человек не маленький, и ладонь у меня крепкая, но когда я пожал ему руку, моя ладонь просто исчезла в его рукопожатии. Если он сожмет кулак, получится натуральная боевая палица с заскорузлыми мозолями и бугристыми шрамами вместо шипов.

– Аркадий Вениаминович, – представился дед.

– Виктор.

– Что делать, объяснили?

– Нет еще, – ответил я.

– Будешь убивать птиц.

– Кого?

– Птиц, – сказал Аркадий, ловко притоптал корявыми пальцами гильзу беломора и закурил. – Точнее, ты будешь теперь убивать птиц вместо меня. Мое дело объяснить тебе, что к чему, ну и понять, годишься ли ты для этой войны.

– Войны? – я с трудом сдержал смехок, но Аркадий так посмотрел на меня, что я понял: он не шутит.

– Ну ты же не собираешься убивать их просто так. Так ты долго не протянешь, если ты нормальный, конечно. Должен же быть какой-то мотив. Без мотива убивают только совсем ненормальные и дети. Гасил в детстве муравьев, кузнечиков, жуков?

– Гасил.

– А мотив какой был?

– Никакого.

– Вот. А птицы совсем другое дело. Вообще не кузнечики. Так что добро пожаловать на войну.

Я от таких слов чуть не вытянулся по струнке и уже хотел козырнуть.

– Война так война, главное, чтобы деньги платили.

– Дурак ты, Витя.

Вениаминович швырнул докуренную папиросу на шпалы.

– А зачем убивать птиц? – спросил я.

– Тебе когда-нибудь в еду срали? – спросил Аркадий Вениаминович.

Мы просидели на скамейке целый час, пока Аркадий рассказывал, в чем суть моей новой работы. На платформу заходили пригородные электрички. Им навстречу уходили поезда дальнего следования. Солнце по-июльски разогревало октябрь. Люди спешили на работу, и вся эта картина мне казалась совершенно нереальной. В воздухе пахло дальней дорогой – странный запах московских вокзалов, перемешанный с вонью жирных беляшей, табачного дыма и невыносимого утреннего купажу из ароматов толпы: дезодоранты, духи, шампуни, гели после бритья.

Птицы для Курского вокзала стали реальной проблемой. И если на привокзальной площади решение нашлось изящное и простое – над входом в метро «Курская» Арбатско-Покровской линии повесили колонки, из которых каждые пятнадцать минут раздавалась запись криков хищных птиц: орланов, беркутов, сов, распугивающая голубей и воробьев, в самом здании вокзала дела обстояли хуже. Голуби тут носились стаями. Залетев однажды, вылететь они уже не могли. Еды здесь было предостаточно, и птицы могли прожить счастливую птичью жизнь, прицельно обсирая с верхотуры людей.

На втором этаже вокзала фудкорт. Едальни на любой вкус. Здесь голуби лютуют больше всего. А срут они после фастфудовской еды как перекормленные коровы. Гадят чуть ли не лепехами в новый острый шеф-бургер от KFC, гадят в пиццу из PizzaHut, даже в шаурму гадят, хотя казалось бы? А то и просто за шиворот трапезничающим. А когда все-таки подышают, делают это так, что сразу и не обнаружишь трупик. Только вонь. Полная антисанитария и ужас.

Раньше их травили. Но со временем голуби перестали жрать отравленную крупу и теперь прекрасно себя чувствуют, питаясь объедками и крошками, оставленными людьми. Тогда на работу и взяли Аркадия, чья задача была убивать голубей.

Жил он тут же на вокзале в одной из комнат матери и ребенка.

– Вот, – сказал Аркадий и вытащил из кармана увесистый пневматический пистолет. – Аникс-101, мощная штука. Работаем по ночам, когда людей в здании вокзала мало. Все просто: увидел, согнал куда-нибудь, где потише, пристрелил.

Аркадий протянул мне пистолет.

– Сфотографировал труп, в конце недели по фотографиям отчитался, получил зарплату.

Он как-то странно посмотрел на меня и сказал уже шепотом на ухо:

– Найди сиреневого ворона.

- Кого? – спросил я.
- Ворона сиреневого.

Я посмотрел в глаза старику и отшатнулся. По спине пробежали мурашки размером с приличного таракана. Глаза были абсолютно безумные. Зрачки бегали, а белки пожелтели.

- Убей эту тварь, Витя, убей.

– Ладно, Вениаминович, я понял, – я не стал спорить. Со стариком явно было что-то не так.

В первый мой рабочий день мы с Вениаминовичем завалили с десяток жирных голубей. Из них трех пристрелил я. Через неделю я пришел на работу, но на скамейке, где мы с Аркадием обычно встречались, старика не было. В отделе кадров мне сказали, что он уволился, а я прошел стажировку, и теперь буду работать самостоятельно. Жить, если захочу, могу в комнате матери и ребенка, где до меня обитал Аркадий.

Через полгода я стал настоящим мастером. Я был стремителен, безжалостен и неумолим в своем мастерстве. Носил черные кеды, черные джинсы, черную толстовку и чувствовал себя олицетворением смерти. Я был прекрасен. Я убивал этих тварей с первого выстрела. Я стал настолько искусен, что стрелял точно в их маленькую тупую голубиную голову. Я убивал их в таких количествах, будто именно для этого и был рожден. Я ненавидел голубей – вонючих летающих крыс. Особенной удачей было, когда попадались белые голуби. О! Для этих мразей у меня были припасены метательные ножи. Я стал, едрить-колотить, японским ниндзей! Настолько четко я метал ножи! Так было по ночам. В наушниках орали F.P.G. перепевку цоевской ночи: «Это ночь, ее электрический свет бьет мне в глаза». Но каждый раз наступало утро, ненавистное утро. Люди заполняли здание вокзала, и не было никакой возможности работать. Я стал ненавидеть всех этих людей и каждое новое утро, бесцеремонно разгоняющее ночные тени по углам, за то, что не могу заниматься своим любимым делом.

Я уходил на платформу экспресса «Спутник», садился на скамейку, где в первый раз встретился с Аркадием Вениаминовичем, и наблюдал за людьми. Я занимался настолько необычным делом, что все они мне казались теперь слишком простыми и бесполезными. Как голуби в здании вокзала, чья жизнь заключается только в том, чтобы жрать и срать. Раньше было наоборот. Наверное, я даже им завидовал. Влюбленным парочкам, лобызавшимся в тамбурах, деловитым мужчинам и женщинам. Они все были при деле, все чем-то занимались, и мне казалось, что занимаются они обязательно чем-то интересным и полезным. А если бесполезным и неинтересным, то хотя бы получают неплохие деньги.

Я смотрел на людей, что садились в поезда дальнего следования, и даже они уже не казались мне счастливыми, что проведут несколько часов, а может и дней, между здесь и там, в дороге, за чашкой горячего чая с приятными попутчиками. Но теперь... теперь я не просто человек, я – убийца птиц. А кто они?

Только бы найти сиреневого ворона, о котором говорил Аркадий Вениаминович. Сейчас я понимаю, что старик не был безумен и ворон существует. Мне кажется, он прячется на минус первом этаже, за вывеской магазина «ТВОЕ». Это мрачное место. Туда не проникает ни солнечный, ни электрический свет. Две девушки, что работают там продавцами, даже не понимают, в каком ужасном месте они находятся, ведь здесь сиреневый ворон. Их кожа бледна и глаза белесы из-за отсутствия света, а Таня – та, что работает на кассе, подарила мне немало приятных часов в примерочной. Тогда я и понял, что сиреневый ворон прячется именно здесь.

Будущей ночью я пойду на охоту.

Я занял отличную позицию. В блинной, недалеко от магазина «ТВОЕ» на минус первом этаже. Столик возле двери. Отсюда все отлично простреливается, а при определенной ловкости можно и нож метнуть. Я заказал блинчик с сыром и ветчиной, чтобы не привлекать особого внимания. Я словно пружина, словно свернувшаяся перед смертельным укусом змея, словно взведенный курок пистолета. Я – сама ярость!

Он выглянул из-за вывески. Затем аккуратно спрыгнул на пол. Эта сволочь настолько обнаглела, что даже не летает. Ходит пешком. Я весь сжался. В одной руке у меня нож. В другой пневматический пистолет. Ворон оказался огромным. В два раза больше любой московской вороны. Несмотря на то, что света здесь мало, я четко вижу, что он сиреневого цвета, с белыми глазами без зрачков. Я вскочил из-за стола и совершил такой прыжок, что позавидовал бы любой каскадер. В прыжке я метнул нож и выстрелил одновременно...

– Кто на собеседование?

– Я, – отвечаю.

Юбочка, шпильки, сиськи, очки, волосы в хвост. Почти клон предыдущей чиарши.

– Расскажите немного о себе.

«Я – убийца птиц», – подумал я.

– Мне сорок лет, живу в поселке Заря.

– Какое ваше самое большое достижение в жизни?

«Я убил сиреневого ворона», – хотел я ответить.

– Пока самое большое достижение то, что я дожил хотя бы до сорока. Пока.

– Назовите свои положительные качества.

«Я – настоящий мастер. Я безжалостен в своем деле. Я стремителен. Я – японский ниндзя, сука», – нужно было сказать.

– Коммуникабельность, стрессоустойчивость, умение вести переговоры на уровне первых лиц компании, пунктуальность.

– Мы позвоним вам и сообщим о результатах собеседования. Пока предварительно могу сказать, что вы можете рассчитывать на положительное решение.

В тамбуре электрички до поселка Заря я оторвал от объявления язычок с номером телефона – «на Ленинградский вокзал требуется разнорабочий». Я сжал в кармане нож. Я – сама ярость!

## Собиратель красоты

Всегда мечтал быть фотографом. Продал машину, купил дорожное оборудование и был счастлив до тех пор, пока не кончилась еда. Пришло время монетизировать свое желание. В этот момент моя мечта заскулила, уползла в угол и сдохла там. Пока она еще дышала, я носил ей горячий чай с медом, затем вино, потом коньяк и даже водку. Но каждый раз, когда я возвращался со свадебной съемки домой, мечта все реже подавала признаки жизни.

Я не выбрасывал труп. Надеялся, что оживет, как только соберу достаточно денег, чтобы хоть полгода ничего не делать и снимать только то, что хочу. Тогда я возьму ее на прогулку. Как раз будет осень.

Будет красиво. Будет много золота, меди, бронзы и серебра. Будет столько красоты и свободного времени, что мечта обязательно оживет. Снова будет держать за руку и заливисто смеяться. Осень пришла. И медь, и золото, и серебро, местами изумруд, а мечта начала покрываться трупными пятнами. Я решил, что выкину ее гниющее тело завтра, после очередной свадебной съемки.

– Мы хотим, чтобы было красиво. Общие планы. Портретная съемка. Воробьевы горы там, Москва-Сити, ну и Красная площадь, естественно. Васильевский спуск, если на площадь не пустят. Да, Вась?

Невеста красива. Мне казалось, что ее соски вырвутся на свободу из этой обтягивающей кофточки и выколуют мне глаза.

– Конечно, Настя. Воробьевы горы, да.

Вася тоже хорош. Крепкий, подпружиненный. Такое ощущение, что он сейчас достанет тарелку с овсянкой или шейкер с протеином, чтобы не пропустить углеводное окно.

– И Москва-Сити, естественно, – сказал Вася безапелляционно.

– И Зарядье, Зарядье! – Настя подпрыгнула в предвкушении. – Парящий мост!

– Ну, конечно! – обрадовался Василий.

– ВДНХ? – включился я в обсуждение.

– О! – Настины соски все-таки прокололи обтягивающую кофточку.

– Как думаете, Михаил, из такого сценария получится хорошая съемка? – спросил меня Василий.

«Получится, угу», – подумал я и ответил:

– Конечно, но у меня есть встречное предложение. Давайте вы наймете еще одного фотографа, который сделает всю постановочную съемку, а я буду фотографировать только то, что хочу, а потом вы сами решите, за какие фотографии заплатить?

Не знаю, что меня заставило такое предложить. Наверное, Настины соски. Барышня была действительно красивая. Как горы. Или океан. Объективная красота. Настолько мощная, что ее нельзя объяснить. Вот и Настю объяснить сложно. А передать ее красоту можно только случайно, и никаким образом это невозможно в постановке на Воробьевых горах.

Нельзя владеть красотой гор или океана, но в мире еще много красоты, которую хочется заполучить. Любые научные достижения только тогда становились частью цивилизации, когда они оказывались красивыми. Самое эффективное оружие – красивое оружие. Лучший самолет – самый красивый самолет. Лучший телефон – самый красивый телефон. Мы все спешим туда, где красота, и всеми силами стараемся заполучить красоту себе. Мужчинам в этом мире проще. Недостаток красоты они всегда могут компенсировать красивой женщиной. Ею обладать легче, чем горами или океанами. Странно, что мужчины отказывают женщинам в таком же желании. Женщины не могут компенсировать недостаток красоты самым доступным материалом – мужчинами. Потому что мужчин, похожих на Василия, очень мало, вот они и находят

красоту в вещах и уюте. Поменяйте нас местами, и что мы, мужчины, будем делать без этой беззащитной и такой доступной красоты?

Настя и Василий согласились на мое предложение, но я был уверен, что это моя последняя съемка за деньги. Больше не хочу, да и труп мечты уже давно пора выбросить. Реанимация оказалась бессильна.

На Воробьевых горах второй фотограф все сделал правильно. Он выстроил гостей и родственников, подобрал задний план и приготовился скомандовать – прыжок, но Настя задержалась у парашюта смотровой. И все сложилось. Осень. Золото и серебро. Высота. Ее белое платье, случайный порыв ветра. Грустная, но счастливая улыбка. И мне стало жалко делать кадр, за который могут заплатить деньги. Мне захотелось украсть момент, красоту, чтобы она принадлежала только мне. Я достал телефон, щелкнул и спрятал его в карман. Все, теперь это моя красота.

Со мной не рассчитались. То, что я снимал, молодым не понравилось. Я знал, что у меня есть кадр, за который Василий заплатит, как за всю съемку, но показывать не стал. Там Настя настоящая. С тревогой и счастьем в улыбке, там ветер, там воздух и украденный у самой жизни момент, который мы, люди, не имеем права видеть слишком долго. Только запоминать и уже из памяти вытаскивать по кускам. В моменты самой лютой тоски. Нам нужен ветер, запах, золото и серебро следующей осени, чтобы ненароком поймать миг, когда мы были счастливы. Счастье – это не что-то растянутое во времени. У счастья вообще нет понятия времени, потому что у времени нет такой единицы измерения, в которую может втиснуться счастье. Все должно сложиться в одну картинку, и такая картинка теперь есть у меня! Я запостил фотографию в инстаграме. Это был хайп. Фотография не только набрала тысячи лайков, но и попала на другие ресурсы как образец свадебной съемки. Фильтр X-ProII сделал свое дело.

Через пару дней мне позвонил Василий.

– Михаил, у вас остались какие-нибудь кадры с Настей?

– Да, – ответил я, – а что случилось?

– Настя умерла.

Я открыл инстаграм и понял, что фотография Насти стала еще красивее и обрела смысл.

После этого случая красоты для меня стало больше, чем я мог себе вообразить. Она бросалась на меня отовсюду. Из осенней лужи, из-за алюминиевых туч над Москвой, из толпы в метро. Я видел ее повсюду, не мог с ней справиться и как умалишенный постил все в инстаграме. Пока не начал замечать, что красота исчезает. Стоило мне только сфотографировать что-то по-настоящему красивое, на следующий день оно исчезало. Так вырубали все деревья у меня во дворе под предлогом благоустройства, так любимый подъезд с шедевальным граффити на стене, что нарисовал мой друг, закрасили в синий. Так разбился самолет, что я сфотографировал при взлете.

Мой инстаграм становился все популярнее, но вокруг меня оставались руины. Последней каплей был кот соседки. Он просто сидел возле лифта и был сам по себе красотой. Я сфотографировал его, и на следующий день кот околел.

Не сразу все связалось воедино. Не сразу понял, что происходит, пока не решил сфотографировать соседку из дома напротив. Она развешивала белье на балконе в трусах и мужской рубашке. Не знаю, как объяснить. Но в ней в тот момент сконцентрировалось все женское и человеческое одновременно. Это было так красиво, что я не доверился одному кадру и начал снимать видео. Вот она встает на стул, чтобы повесить красную мужскую толстовку на веревку, вот она улыбается и нюхает зачем-то толстовку и в тот же момент делает неловкое движение и валится с балкона. Хруст деревьев и звук, будто упал мешок с картошкой. Я выключил видео.

За окном завопили пожарные машины. В дверь моей квартиры постучали с ноги. «Эвакуация. Пожар», – сказал мужчина в экипировке МЧС и в противогазе. Я щелкнул его на телефон. В тот же момент дверь из соседней квартиры вылетела, словно пробка из бутылки вина

и, как солому, подожгла мужчину в экипировке. Кадр получился замечательный. Я выбежал на улицу. Странные люди все-таки жили со мной в одном доме. Этот пожар – самое красивое, что было в их жизни, но выглядят они такими несчастными.

– Нравится? – спросил меня дедок, стоящий рядом.

– Красиво, – ответил я, не в силах оторваться от огня.

– Аркадий Вениаминович, – представился мужчина и протянул мне руку.

Совсем уж какой-то архетипический дед. Длинная, спутанная, совершенно седая борода, пожелтевшая на подбородке от никотина. Черный вязаный свитер с горлом, поверх серый жилет с многочисленными карманами, армейские штаны галифе образца середины прошлого века, хромовые, до блеска начищенные сапоги. Меня поразили его ручки. Огромные маховики. Не руки, а какое-то недоразумение, которое можно применять как оружие массового поражения.

Я хотел его сфотографировать, но старик выбил у меня телефон из рук.

– Ты не вздумай, – сказал он.

– Что? – спросил я.

– Все! Но если хочешь сфотографировать что-то по-настоящему красивое, сфотографируй сиреневого ворона. И пусть он сдохнет, раз уж вся твоя красота умирает.

– Ты вообще кто? – спросил я.

– Аркадий Вениаминович, – ответил дед и снова уставился на пожар.

– И где искать твоего ворона?

– Нашего, – ответил дед. – В последний раз его видели на Курском вокзале, но есть мнение, что теперь он на Ленинградском.

– Сиреневый? Ворон?

– Сиреневый, с белыми без зрачков глазами, – ответил дед.

– Красиво.

– Еще бы!

## Суперагент

### «Новокосино»

Как же я был рад, когда желтую ветку прорубили дальше «Новогиреево». И не только потому, что мне теперь стало удобнее ездить из Реутова в Москву, но и потому, что я, как дурак, надеялся, дескать, все «они» останутся в Новогиреево.

Они – те странные люди, что стоят на конечных платформах метро и ждут, когда приедет пустой поезд. Они порциями залетают в вагон, кидаются к сиденьям, а кому сидячих мест не досталось, стеной встают перед открытыми дверями и ждут следующий поезд, чтобы оказаться среди счастливиц, усадивших задницы.

Несчастные, которые просто хотят зайти в вагон и поехать, не важно как – стоя, сидя, – должны с боем пробиваться через эту стену. Самое удивительное, что их еще и не пускают. Вроде как ты посмел не хотеть ехать сидя.

Но они, походу, все переехали в Реутов и теперь стоят на платформе «Новокосино».

Каждое утро я тщательно начищаю ботинки перед выходом. Когда спускаюсь в метро, включаю на телефоне трек Moby к фильму про Джейсона Борна – *Extreme ways*, ту самую, что играет в самом конце фильма, и подхожу к людской стене у открытых дверей вагона.

Удивительная штука музыка. Она придает сил или наоборот лишает. Вдохновляет или повергает в депрессию. И вот я с первых аккордов чувствую себя Джейсоном Борном – самым лучшим суперагентом. Я неуязвим, стремителен, беспощаден и ловок. Я прорываюсь сквозь людскую стену с каменным лицом, расталкивая всех локтями, чувствуя свою неуязвимость и сокрушающую правоту.

И вот я в вагоне. С презрением смотрю в толпу на платформе, чтобы поймать хоть что-то глаза, дабы испепелить несчастного.

Обычно Moby в этот момент доходит до строчек: «*Oh baby, oh baby, then it fell apart, fell apart*». Я ищу в вагоне какую-нибудь «*baby*», к которой мог бы обращаться Moby, чтобы случайно встретиться с ней взглядом, пока не доеду до своей станции. Я смотрю на ботинки, и, конечно, они уже не так безупречно блестят.

Осторожно, двери закрываются. Следующая станция «Новогиреево».

### «Новогиреево»

Вот они. Злые суки. Я даже их понимаю. Теперь у них нет пустого поезда и нет смысла стоять стеной. Они врываются в вагон так, словно хотят убить всех, кто живет в Реутове. Ведь из-за них они лишены счастья выбора. Лишены размеренного образа жизни. Они же годами рассчитывали алгоритм своих поездок. Они точно знали, сколько простоят на платформе, пока попадут в пустой поезд и успеют сесть. Они выходили из дома с определенным запасом времени, и тут на тебе!

Они ненавидели меня, когда я прорывался сквозь них в «Новогиреево», но теперь принимают за своего, когда видят, что из «Новокосино» я приехал стоя. Но это не мешает им пару раз наступить на мои ботинки. Мои начищенные ботинки.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.